

№ 3 (185)
март

2012

Не в силе Бог, а в правде.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ВЪСТНИКЪ

Газета Александро-Невского собора города Барнаула. Печатается по благословению
Преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского



*Страстная
седмица
9-14 апреля*

М. Нестеров
«Вечерний звон»



О БОРЬБЕ С ГРЕХОМ

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
на великом повечерии в среду Первой седмицы Великого поста

Грех разрушает Богом определенный порядок жизни, потому что сущностью греха является богоотступничество. Всякое деяние, которое не соответствует воле Божией и Божию закону, является отступлением от Бога, непризнанием верховной власти Бога над творением, является грехом. По единодушному мнению святых отцов, два порока обнаруживают саму природу греха — это гордыня и ложь. Если жизнь основывать на грехе, то такая жизнь является непрочной. Грех и жизнь несовместимы. Вот почему мы имеем свидетельство о том, что грех порождает смерть — в том смысле, что жизнь по закону греха несовместима с бытием человеческим. Жить по греху — значит разрушать жизнь.

Каждый человек согрешает, и только что услышанные слова кто-то может поставить под сомнение, сказав: «Ну вот, я грешу, с каким-то грехом не могу справиться, но ведь я живу и радость имею в сердце. Я пытаюсь грех преодолеть — не удается; но каюсь в своем грехе». Если кто-то мыслит так, то это отношение к греху верующего человека, который грех не оправдывает, который сознает, что грех — это зло, и понимает, что, будучи неспособен противостоять греху, он согрешает пред Богом.

Но есть и другое отношение к греху — когда грех оправдывается, более того, когда между грехом и праведностью, правдой и ложью ставится знак равенства. Мы сейчас переживаем, впервые за всю человеческую историю, эпоху, которая стирает границу между грехом и праведностью, между правдой и ложью. Поэтому в грехе не раскаиваются, а нередко грехом

еще и бравируют, сознательно полагая грех в основу жизни.

Но если грех порождает смерть, то такое мировосприятие и такое поведение означает самоубийство. Речь идет не о самоубийстве человека — это самоубийство человеческого общества. Если будут окончательно стерты границы между добром и злом, если люди, потерявшие способность отличать добро от зла, будут основывать на грехе свою жизнь, будь то личную, семейную, общественную, государственную, общечеловеческую, вселенскую, то это будет означать конец света, потому что грех и жизнь несовместимы. И тот самый конец света, о котором говорит слово Божие, это и есть господство греха, когда грех будет восприниматься как норма жизни.

А что же делать, чтобы не допустить этого? Грех возникает внутри человека. Есть такое понятие «искушение». Кто-то его правильно интерпретирует, кто-то не очень. Если перевести это понятие на современный язык, то искушение — это провокация. Мы можем сами провоцировать грех. Когда мы не уклоняемся от общения с людьми, утверждающими право жить по греху, когда мы погружаемся в псевдокультурную среду, пропагандирующую грех, когда мы делаем многое другое, что возбуждает в нашем сознании интерес и тягу к греху, мы провоцируем самих себя. Но грех могут провоцировать и жизненные обстоятельства, и люди, с которыми мы общаемся. Испытания приходят как извне, так и от самих нас, от нашего разума, проистекают из нашей внутренней жизни.

Если искушение начинает действовать на наш разум, то такое состояние мы называем греховным помыслом. Это означает, что грех оккупировал сознание, грех укоренился в мысли. Еще нет греха как действия, но есть грех как мысль. Помысл — это и есть греховная мысль. Если не остановить эту мысль, то мысль приводит в действие наши чувства; мы чувственным образом начинаем отождествлять себя со грехом. Иногда

это доставляет человеку удовольствие, но нередко порождает опасные эмоции, такие как гнев, ярость, злобу, зависть, от которых человек страдает. Однако даже те чувства, которые как бы услаждают нашу природу, на самом деле ничем не отличаются от тех, что доставляют человеку страдания, потому что грех не может принести радость и удовлетворение.

Если человеку не удалось победить злой, греховный помысл и грех перешел в область чувств, то два рубежа обороны врагом захвачены, и бороться с греховными чувствами куда тяжелее, чем с греховными мыслями.

Но есть и третья линия обороны — если не остановить воздействие греха на наши чувства, то грех захватывает и подчиняет себе нашу волю, и тогда человек совершает греховные поступки.

Святые отцы обращают особое внимание на эту последовательность усвоения греха человеком и подчеркивают важность преодоления греховных мыслей, тем более греховных чувств. И почти единомысленно отцы свидетельствуют о том, что человек, вставший на путь греха, совершающий греховные деяния, потерпел поражение.

Есть, конечно, возможность через покаяние смыть с себя греховную скверну. Но ведь каждый на своем опыте знает: если греховные деяния совершаются регулярно, постоянно, то возникает некая привычка ко греху, от которой невозможно избавиться ни исповедью, ни покаянием, ни долгими молитвами. С греховными помыслами следует бороться молитвой, и если помысл входит в наше сознание, нужно предать себя Господу, осенить крестным знаменем, читать молитву Иисусову, не услаждая себя посторонними мыслями.

Если мы научимся бороться с грехом в нашей личной жизни, в глубине нашей души, если мы будем давать отпор и злым, греховным помыслам, и греховным чувствам, и даже бороться с греховными навыками, с греховными поступками,

то это будет великой битвой за жизнь, за собственную жизнь. А если подобного рода действия будут предприниматься людьми сообща, то это будет не что иное, как преодоление тяготения человеческого общества к распаду и уничтожению.

Борьба с грехом — трудная борьба, и грех дело небезобидное, особенно тогда, когда огромные силы работают на то, чтобы представить грех как одну из моделей человеческого поведения, как одну из возможностей законного свободного выбора человека. Именно с таким выбором чаще всего и связывает-

ся неверное, искаженное представление о человеческой свободе. Только когда выбор в пользу греха оборачивается кровавыми преступлениями, общество содрогается от ужаса, но и тогда не видит подлинных причин тех страшных явлений, которые грех привносит в человеческую жизнь.

Святая Четыредесятница представляет нам особую возможность углубиться в самосозерцание. Нужно научиться видеть самого себя, видеть свою внутреннюю жизнь, выработать навык духовного анализа мыслей, чувств, деяний. В борьбе с грехом нет

мелочей, как нет мелочей вообще в человеческой борьбе. И дай Бог, чтобы эти благодатные и святые дни Четыредесятницы помогли нам, немощным и грешным, одержать хотя бы одну победу — пусть небольшую, незначительную, но реальную победу — над грехом. И тогда, обретая навык победы над грехом, мы становимся сильнее, у нас возникает уверенность в том, что Богу содействующу мы сможем жить по закону Божию, по закону жизни.

Храни вас всех Господь.

29 февраля 2012 года

ЦЕРКОВНАЯ АЗБУКА

Название Пассии происходит от латинского слова «passio», что в переводе на русский язык означает «страдание», а на церковно-славянский язык переводится как «страсть».

Последование пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов): во второе, третье, четвертое и пятое воскресенья Великого Поста, по вечерам. Как ясно из названия, на этих службах воспоминаются спасительные страдания Господа Иисуса Христа. За каждой пассией прочитываются евангельские повествования об этом: на первой — 26-27 главы от Матфея, на второй — 14-15 от Марка, на третьей — 22-23 от Луки, на четвертой — 18-19 от Иоанна.

По традиции во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.

В православии Пассия представляет собой последовательное чтение евангельских отрывков, повествующих о последних днях и часах земной жизни Спасителя, исполняются песнопения, взятые из богослужения Страстной Пятницы. Позже в чинопоследование был включен акафист Страстям Господним.

По установившемуся обычаю, эта служба совершается в воскресный вечер и соединяется с великой вечерней.

Как правило, цикл Пассий начинается со второй Недели Великого поста, посвященной свт. Григорию Паламе.

Традиционно Пассия совершается в середине храма перед Распятием. Перед великой вечерней посреди храма поставляется большое Распятие. Во время пения стихир отверзаются Царские врата и из алтаря выносятся Святое Евангелие, которое полагается на аналое перед Крестом. Затем следует чтение акафиста и Евангельского повествования о Страстях Христовых.

На Пассии мы слышим некоторые трогательные песнопения из богослужения Великой Пятницы — дня телесной смерти Господа.

Так, исполняется стихира «Приидите, убожим Иосифа приснопамятного», которую поют во время целования Плащаницы Христовой; перед чтением Евангелия звучит прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и о одежде Моей меташа жребий...». Эти и другие молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о конечной цели Поста — сораспятия со Христом.

В завершение читается молитва, и духовенство, и молящиеся прикладываются ко Кресту.

Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя, предворяющее несколько раз в течение Великого поста священные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными Богослужениями ведёт нас через поприще Святой Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.

В качестве обязательного дополнения после отпуска произносится проповедь или читается поучение.

По страницам Библейских энциклопедий



ПАССИЯ

Четыре раза на протяжении Великого поста совершается в храмах вечерня с чтением акафиста Страстям Христовым, или, как ее еще называют, Пассия.

Самая поздняя по времени возникновения православная служба — пассия — была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром (Могилой), создателем многих литургических форм. Первоначально пассии были распространены в южных областях России, но к XX веку их стали совершать повсеместно.

Митрополит Иерофей (Влахос)

Православие как соблазн

В последнее время разные люди пытаются анализировать православную веру и жизнь, и некоторые из них представляют Православие как религию или своего рода совершенную религиозную идеологию, которая может помочь современному человеку: по сути, чтобы он ещё больше закрылся в своей индивидуальности. Надо сказать, что то же самое делают все религиозные идеологии и все религиозные секты.

В конце концов, Православная Церковь — это соблазн, особенно для современного человека, который хочет использовать любую идеологию, даже религиозную, в корыстных и утилитарных целях.

О Православной Церкви в современном мире размышляет один из виднейших иерархов Элладской Православной Церкви, митрополит Иерофей (Влахос).

Греческое слово соблазн, или скандал, этимологически намекает на силки и западню, которые готовит какой-то враг. Кроме того, это слово означает искушение, препятствие. В этом смысле Православие является соблазном для тех, кто не знает его внутренней глубины и его внутренней полноты: оно есть и все время становится силками, западней, помехой и камнем преткновения.

* * *

Православие — соблазн для тех, кто под влиянием религиозной и мистической традиции Востока ставит его в один ряд с другими религиями, стараясь получить для себя выгоды религиозного или духовного характера, и игнорирует то, что речь идёт не о религии, а о Церкви, Богочеловеческом общении, которое избавляет человека от болезни Религии.

Православие — соблазн для тех, кто под влиянием католической схоластики и протестантского морализма считают, что Православие тоже предлагает философско-идеологические истины и систему морали для некоей в условном смысле слова «счастливой» жизни, и игнорирует то, что Православие проникает и исцеляет саму суть человеческой личности.

Православие — соблазн для тех, кто видит его через призму западной метафизики, «феодалного» образа мысли, и поэтому борется с ним, как это делали просветители, романтики и модернисты, игнорируя, однако, то, что Православие — антиметафизично по своей сути и находится по другую сторону «феодалного мировоззрения».

Поэтому Православие и не беспокоят стрелы разных западноевропей-

ских течений, и в недрах Православия никогда не рождались подобные враждебные ему течения.

Православие — соблазн для тех, кто хочет перенести в него свои страсти, особенно тщеславие, сладострастие и сребролюбие, и использовать



рис. А. Куршина

его в социальных и политических целях, забывая, что суть Православного Предания — это претворение самолюбия в боголюбие и человеколюбие.

Православие — соблазн для тех, кто использует его для созидания своеобразных «духовенств» и «епископатов» и пренебрегает тем, что Православной Церкви чужды все те системы, которые говорят о господстве клира или народа.

Православие — соблазн для тех, кто считает его группкой благочестивых людей, не зная, что группы кафаров («чистых»), начиная от манихейства и заканчивая огромным

количеством религиозных движений Средних веков, не имеют никакого отношения к Православной Церкви, которая есть место искренне кающихся, не преследующих корысти или личной выгоды.

Православие — соблазн для тех, кто хочет видеть в нем опору национализма и капитализма, игнорируя то, что Православная Церковь — вселенская, и один из главных её признаков — любовь к человеку, в каком бы месте, в какой бы стране он ни находился, а особенно любовь к человеку страждущему и измученному любой тиранической властью.

Православие — соблазн для тех, кто считает его юридическим лицом общественного права и придатком государственных или социальных учреждений или глашатаем разных политических образований, пусть и необходимых в демократическом обществе. Такие люди не принимают во внимание то, что Церковь обнимает всех людей, к каким бы партиям они ни принадлежали, как насадка укрывает всех своих птенцов, независимо от их цвета.

Православие — соблазн для тех, кто ищет в нем разного рода и степени соблазны и скандалы, потому что соблазн самого Православия — это то, что оно любит всех и не считает других своими врагами. У Православия нет врагов.

* * *

Кто смотрит на Православную Церковь через такие деформированные стекла, соблазняется им. По сути, Православная Церковь — соблазн в том же смысле, в каком смысле может стать соблазном солнце, которое

принадлежит всем, всех освещает и греет, но никто не может присвоить его и смотреть на него открытым взглядом, ибо ослепнет.

Кто хочет познать свет и тепло Православия, может прочитать тексты святого Симеона Нового Богослова и святого Григория Паламы, или прекрасную книгу Владимира Лосского «Мистическое богословие Восточной Церкви». Если же нет времени и возможности читать такие книги, можно познакомиться с известной книгой «Отечник», или «Патерик». Стоит также прочитать книги Достоевского и Пападиамантиса. В них можно найти смиренных выразителей Православного Предания, увидеть людей, воспевающих «песнь Божию», которые скромно, без фанфаронства, ханжества и театральности живут в Церковной ограде, каются и воспри-

нимают Православную Церковь не как место философствования и не как социальную или моральную систему, а как общество смиренных и освящающихся людей, как духовную лечебницу, подающую елей и вино, чтобы исцелить человеческие раны. Это можно было увидеть в отце Паисии Святогорце, в старце Порфирии Кавсокаливте, в старце Иакове Цаликисе, в отце Ефреме Катунякиоте, в отце Софронии Сахарове.

Православная Церковь — жизнь для них всех, но соблазн — для самонадеянных, «религиозных», для ханжей, для всякого рода «чистых», «истинных», для «пользователей» и «добытчиков», а также для тех, кто хочет превратить Православие в социальную, моральную и политическую систему — именно потому, что никакое государство не может стать и быть

Христианским, и, тем более, не может стать православным. И там, где предпринимались такие попытки, — человек потерпел неудачу.

Это настоящие соблазны для Церкви. И люди, которые неправильно относятся к Православной Церкви, — либо соблазненные, либо соблазнители. Но и они становятся объектом её любви и её заботы, потому что Церковь — мать, а не учение, Врачебница, исцеляющая раны, а не система, загоняющая в угол и убивающая безличными идеологиями.

Православная Церковь — «место», где слышатся и переживаются, как сказал бы святой Симеон Новый Богослов, «божественной любви гимны». Для того, кто может выдержать. Для других Православие — соблазн и безумие.

www.myriobiblos.gr

Митрополит Вениамин (Федченков)

СЛЕЗЫ О ХРИСТЕ



ветлый праздник... Праздник праздников... Пасха красная... Само солнышко играет, — говорил еще святой Амвросий Медиоланский в поучении своем на Пасху... Церковь ликует в песнопениях... Все целуются от радости... Яйца... Обилие цветов. Игры на улице...

А я, убогий, ныне на литургии плакал горючими слезами в алтаре и на проповеди... Карпаторуссы, не все понимающие по-русски, недоумевали. И лишь одна молодая христианка горько и с сочувственными слезами плакала со мною... И как это рассказать вам: почему?..

Пришли карпато-русские певцы... Но еще неопытные. Однако «старались»... Старался и сослуживший карпаторусс, протоиерей А. Гарпаш. Голос у него огромный — профундо-бас... И вот поют, читают, кричат... А сердце мое плакать стало... Как это вам рассказать? Смешанные чувства были там. Но главное, как думаю, было чувство, — как бы сказать, — «голоса вопиющего в пустыне»... Я чувствовал одиночество: другие «поют», но поют горлом; а радости у них я не чувствую. Это шум, а не подъем духа. Это душевное, а не духовное. Это не настоящее. Ищу отклика в душах стоящих, и не слышу его. «...Разве же Тебе нужны наши голоса? Наше «пасхальное» пение? Ты зришь на сердца... А там? А в них нет того, что Тебе угодно... Где радость от Твоего пресветлого воскресения? Кто сейчас Тебе как ЖИВОМУ БОГУ кланяется сердцем, лобызает с мироносицами Твоими Пречистые БОЖИИ стопы? Кто ощущает Тебя в сердце? Кто стоит перед Тобою не телом в храме, а духом в небесах? Ведь Ты — ЖИВОЙ... А Тебя ощущают лишь в «умах или по преданию, по вере, по обычаю, на устах. Вот они там поют... А мое сердце мертво от их пения... Не вижу, не слышу я Тебя среди

них там... А как бы мы все должны были ликовать, если бы Ты Сам предстал перед нами... И Ты везде всегда. А Тебя не вижу я в среде нашей...» И, чем громче было пение, тем этот контраст с внутренней пустотой был мучительнее для меня...

Диссонансом резали громкие напевы «радости». И хотелось мне «прорваться» сквозь них к НЕМУ...

...Вот вам и рассказал частичку моих воплей... Услышали хоть немного их...

И хотелось бы мне иметь крылья и вылететь отсюда на простор. Но куда... Невозможно... И оставалось лишь плакать в плену.

Причащалось человек десять... Мирные, хорошие души... Но жизни и в них было мало: традиция, благочестивый обычай... Жизни нет... Вышел говорить проповедь... Сказал: как Церковь радуется в песнях. Как радовались мироносицы при встрече с Воскресшим. Как горело сердце у Клеопы и Луки на пути в Эммаус... А ныне... Ныне не горим ИМ. Не чувствуем ЕГО в сердце... А ведь Он обещал пребывать с нами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20). Вспомнил слова тропаря 7-й песни канона: «Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху. Егоже яко мертвца со слезами искаху, поклонишася радующиися ЖИВОМУ БОГУ...» А ныне не чувствуется ЖИВОЙ БОГ. Без этого же все мертво... И в мире потухает радость во Христе... И плакал. Плакал... А люди недоумевали.

Православие и мир. ру



ПО СТРАНИЦАМ СВЕТСКИХ СМИ

Итальянские ученые провели новое исследование ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЫ

Епеа, Национальное агентство по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию Италии, опубликовало доклад о пяти годах исследований Туринской плащаницы. Ученые пытались понять, как на льняной ткани Плащаницы так четко отпечаталось изображение. Ученые также поставили перед собой задачу определить, какие физические и химические процессы могут привести к возникновению такого типа окрашивания полотна, как на Туринской плащанице.

Ученые (Ди Лаццаро, Мурра, Сантони, Никелатти и Балдаккини) исходили из последнего и единственного полного изучения полотна, осуществленного группой американских ученых STURP (Shroud of Turin Research Project).

В результате собственных исследований итальянские ученые полностью опровергли утверждение, что Туринская плащаница является средневековой подделкой. В докладе говорится: «Двойное изображение, фронтальное и заднее, человека, подвергавшегося истязаниям и распятию, которое просматривается на льняной ткани Туринской плащаницы, обладает многочисленными необычными характеристиками, химическими и физическими, которые в настоящее время невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, невозможность повторения (а значит, и фальсификации) изображения на плащанице не позволяет сформулировать достоверную гипотезу о механизме формирования отпечатка. Это правда, сегодня наука не в состоянии объяснить, каким образом на Плащанице образовался отпечаток тела».

Происхождение отпечатка на Плащанице — неизвестно. Это и является сутью так называемой «тайны Туринской плащаницы», — говорят ученые. Под каплями крови нет изображения. Это значит, что следы крови появились на ткани до появления изображения. Таким образом, изображение сформировалось позднее. Кроме того, все кровавые пятна имеют четкие очертания, таким образом, можно предположить, что тело не снималось с простыни. Кроме того, на ткани отсутствуют следы разложения, которые обычно проявляются спустя 40 часов после смерти. Ученые также сделали вывод о том, что тело находилось на полотне не более двух дней».

Одной из версий появления изображения на ткани было электромагнитное воздействие. Но результаты экспериментов Епеа свидетельствуют о том, что короткое и интенсивное, как вспышка, направленное ультрафиолетовое облучение способно окрасить льняную ткань таким образом, чтобы на ней были воспроизведены многие особенности отпечатка тела, включая тональность цвета, поверхностную окраску внешних волокон ткани и отсутствие флуоресценции. Однако, подчеркивают ученые из Епеа, общая мощность ультрафиолетовой радиации, необходимой для мгновенного окрашивания поверхности льняной простыни, соответствующей телу человека среднего роста, равна 34 миллиардам ватт, а такую мощность не способен произвести ни один из существующих ныне источников ультрафиолетового излучения.

Ученые говорят: «Мы не закончили исследования, мы собираем фрагменты научного пазла, сложного и захватывающего». Тайна происхождения изображения на Туринской плащанице «бросает вызов нашему интеллекту», как сказал однажды Иоанн Павел II.

Марко Тозатти

сайт газеты «La Stampa», 15 декабря 2011 г.



Это было в жестокие и печальные времена немецкой оккупации Парижа. Война захватывала все большие и большие пространства. Сотни тысяч людей двигались по замерзшим дорогам России, шли бои в Африке, взрывались бомбы в Европе. По вечерам Париж погружался в ледяную тьму, нигде не горели фонари и не светились окна. Только в редкие зимние ночи луна освещала этот замерзший, почти призрачный город, точно созданный чьим-то чудовищным воображением и забытый в апокалиптической глубине времен. В многоэтажных домах, которые давно перестали отапливаться, стояла ледяная сырость. По вечерам в квартирах с плотно завешенными окнами зажигались стеклянные доски аппаратов радио и сквозь треск глушения раздавался голос: «Ici Londres. Voici notre bulletin d'information...» («Говорит Лондон. В эфире наш информационный бюллетень...») (фр.)

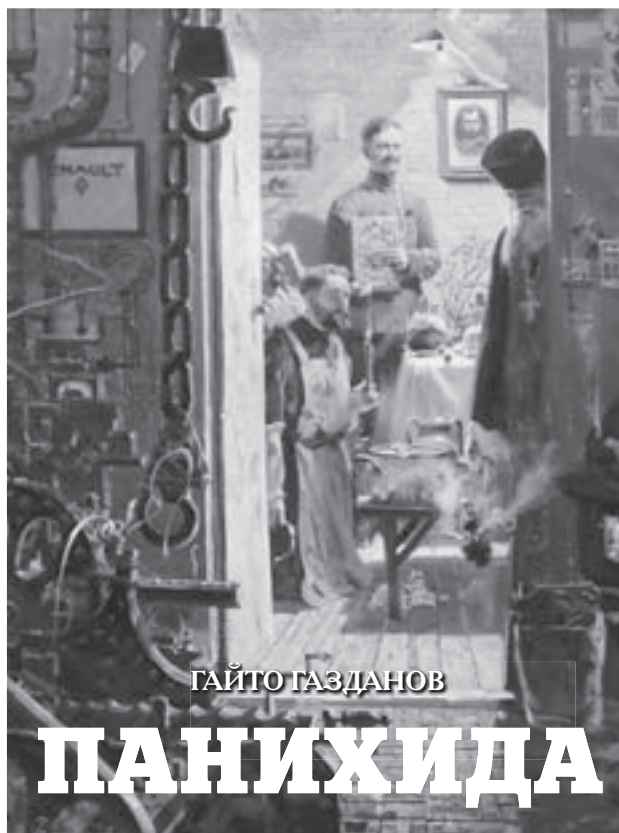
Люди были плохо одеты, на улицах было мало народу, автомобильное движение давно прекратилось, по городу ездили в экипажах, запряженных лошадьми, и это еще усиливало то впечатление трагической неправдоподобности происходящего, в котором жила вся страна в течение нескольких лет.

В те времена я пришел однажды в небольшое кафе, в одном из предместий Парижа, где у меня было свидание со случайным знакомым. Это было вечером, лютой зимой сорок второго года. В кафе было много народа. У стойки хорошо одетые люди — шарфы, меховые воротники, выглаженные костюмы — пили коньяк, кофе с ромом и ликеры, ели бутерброды с ветчиной, которой я давно не видал. Я узнал потом, чем объяснялась эта ветчина, этот коньяк и все остальное: завсегдатаями кафе, в которое я случайно попал, были русские, занимавшиеся черной биржей. До войны, в мирные и сытые времена, большинство этих людей

были безработными — не потому, что не находили работы, а оттого, что не хотели работать из какого-то непонятного и упорного нежелания жить так, как жили все другие: ходить на завод, снимать комнату в плохой гостинице и получать жалованье раз в две недели. Эти люди жили в состоянии хронического и чаще всего бессознательного бунта против той европейской действительности, которая их окружала. Многие из них проводили ночи в деревянных бараках, сколоченных из досок и мрачно черневших на лохматых пустырях парижских окраин. Они знали все ночлежные дома Парижа, скудный желтый свет над железными кроватями огромных дортуаров, сырую прохладу этих мрачных мест, их постоянную кислую вонь. Они знали Армию Спасения, притоны и нищие кафе place Maubert, куда сходились собиратели окурков, оцепенелый сон на скамейках подземных станций метро и бесконечные блуждания по Парижу. Многие изъездили и исходили французскую провинцию — Лион, Ницца, Марсель, Тулуза, Лилль.

И вот после того, как немецкая армия заняла большую половину французской территории, в жизни этих людей произошли необыкновенные изменения. Им была дана внезапная и чудесная возможность разбогатеть — без особых усилий и, в сущности, почти не работая. Немецкая армия и учреждения, связанные с ней, покупали оптом, не торгуясь, все товары, которые им предлагались: сапоги и зубные щетки, мыло и гвозди, золото и уголь, одежду и топоры, провода и машины, цемент и шелк — все. Эти люди стали посредниками между немецкими покупателями и французскими коммерсантами, продававшими свои товары. И как в арабской сказке, вчерашние безработные разбогатели.

Они жили теперь в теплых квартирах, из которых уехали их бывшие хозяева, оставив картины непонятного



ГАЙТО ГАЗДАНОВ

ПАНИХИДА



Газданов Гайто (Георгий Иванович) (1903-1971) — один из самых ярких прозаиков младшей ветви белой русской эмиграции. Осетин по происхождению, рожденный в Петербурге и большую часть жизни проживший во Франции, он считал себя русским писателем. События, пережитые эмигрантами, — Гражданская война, отъезд в Константинополь, нищая жизнь в Париже, литературные баталии на Монпарнасе, трагедия оккупации — в судьбе и творчестве Газданова оказались высвеченными с непривычной стороны и представлены на фоне развернутой картины эпохи.

содержания, хорошие ковры и удобные кресла. Они носили на руке золотые часы с золотыми браслетами, на их пальцах были кольца с настоящими драгоценными камнями. У каждого из них в прошлом была сложная жизнь — города, дороги и улицы в различных странах, огромные расстояния, которые они прошли пешком, — и вот теперь они дошли до того, о чем никогда не могли мечтать.

Я познакомился сначала с одним из них, Григорием Тимофеевичем, худощавым немолодым человеком с глубоко сидящими глазами и острым подбородком. Я встретил его у моего друга, бывшего певца, выступавшего в свое время в кабаре и кафе. Но в те времена, когда я его знал, все это отошло в прошлое. Он был тяжело болен чахоткой и редко вставал с кровати. Но каждый раз, когда я приходил к нему, он снимал худыми руками со стены огромную гитару, звучащую, как рояль, и пел своим глубоким голосом, на котором удивительным образом совершенно не отразилась его болезнь, всевозможные романсы и песни — и меня поражало богатство его репертуара. Григорий Тимофеевич знал его с детства, оба они были родом из какого-то маленького города под Орлом. Григория Тимофеевича никто, кроме меня, никогда не называл по имени и отчеству, и был он всегда Гриша; или Гришка. Певца, наоборот, никто не называл по имени, все звали Василием Ивановичем.

— Вот, Василий Иванович, купил я, значит, картину, — говорил как-то Гриша. — Я тебе, между прочим, жареную курицу принес.

— Спасибо, — сказал Василий Иванович. — Какую же ты картину купил, Гриша?

— Картина, Василий Иванович, не простая. Деньги за нее такие заплатил — вспомнить страшно. Но сюжет уж очень роскошный.

— Что же там нарисовано?

— Изображен там, Василий Иванович, огромный орел, и куда-то он летит, а у него на спине, понимаешь, такой молодой юноша, которого он вроде как уносит. Не совсем понятно, правда, но орел, я тебе скажу, лучше не бывает. Много раз я эту картину рассматривал — и каждый раз одно и то же: замечательная картина, ничего не скажешь.

— А какого художника?

— Этого я не знаю, — сказал Гриша. — Какой-то очень знаменитый. Мне продавец фамилию сказал, я забыл. Только помню, он сказал, что по сравнению с ним Репин, говорит, это просто бревно. И название картины сказал, но я, знаешь, его как-то даже не слушал, до того у меня дыхание захватило.

Я видел потом эту картину в квартире Гриши: это была копия рубенсовского «Похищения Ганимеда».

Картины, впрочем, покупали все или почти все клиенты этого кафе, так же, как они покупали золотые вещи или монеты. У этих людей, у которых никогда ничего не было, вдруг пробудилось какое-то порывистое и беспорядочное стяжательство, никогда, впрочем, не принимавшее западной формы механического накопления денег. Но тратили они еще больше, тратили без толку и зря, с какой-то особенной нелепостью. Помню одного из них, высокого и унылого человека с черной бородой; звали его Спиридон Иванович. Он стоял в кафе и пил коньяк. По улице в это время проходил стекольщик, кричавший заунывным голосом:

— Vitrier! Vitrier! (Вставляем стекла! Вставляем стекла! (фр.))

— Не могу я этого крика слышать, — сказал Спиридон Иванович. — Не могу, нервы не те. И ведь без толку кричит, ну кому он нужен?

С улицы опять донесся крик:

— Vitrier! Vitrier!

Спиридон Иванович выбежал из кафе, подошел к стекольщику и сказал ему по-русски:

— Не надрывай ты мне душу, Христа ради, замолчи! Сколько все твое барахло стоит?

Потом, спохватившись, он повторил свой вопрос на ломаном французском языке. Удивленный стекольщик, помнявшись, ответил. Спиридон Иванович вынул бумажник, заплатил столько, сколько стоил весь товар, подождал, пока стекольщик уйдет, и вернулся к стойке допивать свой коньяк.

— Весь день маешься, — бормотал Спиридон Иванович, — с утра неприятности, того не доставили, там товару не оказалось, а тут еще душу человек надрывает. Только вечером и отдохнешь. Придешь домой, зажжешь отопление и ляжешь в кровать. Лежишь и думаешь: дорвался, Спиридон Иванович, дошел, наконец. Отдохнуть нам, ребята, нужно, а не со стекольщиками лаяться, отдохнуть.

— На том свете отдохнешь, Спиридон Иванович, — сказал Володя, атлетический мужчина лет сорока, специалист по золоту. — Стекольщиков там, я так полагаю, не должно быть, какие там стекла? Только облака да ангелы, больше ничего.

Я особенно почему-то запомнил этот день, когда Спиридон Иванович произносил свой монолог — хриплый звук его голоса, движение кадыка на его худой и длинной шее и эти слова — отдохнуть нам, ребята, нужно, — запомнил выражение его пьяных и усталых глаз, зимние сумерки и смесь алкогольных запахов в кафе.

А когда Григорий Тимофеевич вышел, Володя сказал мне:

— Напрасно это я о том свете заговорил, помолчал бы лучше. Боюсь я за Гришу, всем нам его жаль. Хороший человек, только не жилец он, давно у него чахотка.

Потом Володя заговорил о своих делах. Разговор его, как всегда, был переполнен техническими терминами — проценты, сплавы, караты, то или иное гранение камней. Было ясно, что вряд ли он мог, за короткое время, которое прошло с того дня, когда немцы заняли Париж, усвоить все эти вещи. Когда я его спросил однажды, откуда у него такие познания, он ответил, что его всегда интересовало все, что касалось золота и драгоценностей. До войны он, как и все его друзья по кафе, бывал чаще всего безработным и нередко бездомным. Но он проводил целые часы перед витринами ювелирных магазинов на rue de la Paix, читал со словарем какие-то технические книги, знал, при какой температуре плавится тот или иной металл, в каких отраслях промышленности нужна платина — и этот оборванный в те времена и почти нищий человек мог бы быть экспертом ювелирного дела. Но до войны его интерес ко всему этому носил совершенно бескорыстный характер, и он никогда не представлял себе, что наступит день, когда это витринное и недостижимое золото вдруг окажется в его руках. По его словам, он только раз встретил достойного собеседника, который знал все

это так же хорошо, как он: это был голландец с белокурой бородой и голубыми глазами, известный взломщик несгораемых шкафов, с которым Володя просидел несколько часов в общей камере Центральной парижской тюрьмы, куда попал за бродяжничество — то есть за то, что у него не было ни денег, ни постоянного адреса.

Глядя на Володю, я нередко возвращался к мысли о том, насколько условны могут быть так называемые социальные различия: этому бездомному человеку следовало бы быть собственником крупного ювелирного магазина где-нибудь на rue du Faubourg St.Honore.

Другие посетители кафе, друзья Володи и Григория Тимофеевича, были лишены такой резко выраженной индивидуальности. Все они много пили, тратили деньги, не считая. Весь день клиенты кафе проводили в ожидании очередной партии товара и в телефонных разговорах, а вечером играли в карты, проигрывая и выигрывая крупные суммы.

Григорий Тимофеевич мне говорил:

— Живу я теперь хорошо, конечно. Но только вижу, что раньше я неправильно мечтал. Вот, например, помню я одну ночь в Лионе, зимой. Денег нет, работы нет, комнаты нет. Ночевал я на постройке, все-таки крыша, хоть дождь не заливает. Холодно, накрыться нечем. Лежал я тогда, знаете, на досках, не мог заснуть — никак не согреться — и мечтал. Вот, думаю, квартирку бы вам, Григорий Тимофеевич, с центральным отоплением, кроватку бы с простынями. А вечером жена ужин подает: колбаса, закуска, бифштексы. Вот это была бы жизнь.

Глаза его стали задумчивыми.

— А вышло, что все это неправильно. Не в этом дело. Вернее, не только в этом. В чем — не знаю, только знаю, что не в этом. Теперь у меня все это есть: и квартира, и обед, и жена, и даже ванна — живи, не хочу. Но оказывается, все это не то. Я так теперь думаю. Вот попадет человек в беду, например, или, скажем, в нищету. Ему, дураку, кажется, что это самое главное. Не будь этой нищеты, все было бы хорошо. Ну ладно. Взяли его и как в сказке одели, обули, дали ему квартиру и все остальное и говорят — ну, теперь живи, будь счастлив. А где же его взять, счастье-то? В ванне, что ли? Вот на руке у меня золотые часы «Longines», у Володи купил. Заплатил я за них столько, сколько в прежнее время за полгода не прожил бы. Смотрю на стрелки — что они говорят? А говорят они ясно что: вам, Григорий Тимофеевич, мы время отсчитываем. Было пять, а теперь шесть часов. Значит, часом меньше вам жить осталось.

Он, действительно, посмотрел на свои часы.

— Семь часов? Еще часом меньше. Но это меня не пугает. Мне одного жаль: столько лет прожил, а так и не понял, в чем же счастье человеческого? Ну, хорошо — согрелся, закусил, выпил. А дальше?

Как-то случилось, что я не приходил в это кафе около двух недель. Затем пришел — поздним февральским вечером. Григория Тимофеевича не было, и когда я спросил, что с ним, мне сказали, что он болен, лежит. Я пошел к нему, он жил неподалеку.

Он лежал на постели, исхудавший и небритый, глаза у него были горячие и печальные. Над его кроватью, под зажженной люстрой, крылья рубенсовского орла отливали синеватым светом. Я спросил его, как он себя чувствует, он ответил, что плохо.

— Одеядо уже кажется тяжелым, — сказал он, — это последнее дело. Конечу мне пришел. Умру — и так и не пойму, чего же мне в жизни было нужно.

Он умер ночью, через три дня после того, как я у него был. Володя сказал мне:

— Скончался Григорий Тимофеевич. Завтра хоронить будем, отслужим панихиду. Придете? Отпевание будет на квартире Григория Тимофеевича, в четыре часа дня.

Володя никогда не называл Григория Тимофеевича иначе, как Гришей или Гришкой, я даже не был уверен, что он знает его отчество. И теперь получалось впечатление, что вот жил Гриша, а умер другой человек, Григорий Тимофеевич. На следующий день, когда я пришел, я увидел, что вся квартира Григория Тимофеевича была заставлена венками цветов. Где Володя достал эти цветы, в феврале месяце сорок третьего года, в голодном Париже, и сколько они стоили, этого я не мог себе представить. Все посетители кафе, друзья Григория Тимофеевича, были уже там, у всех были те изменившиеся, почти неузнаваемые лица, которые бывают у людей в этих обстоятельствах.

— Ждем батюшку, — тихо сказал Володя. Батюшка, старый человек с хриловатым от простуды голосом, приехал через четверть часа. На нем была поношенная ряса, вид у него был печальный и усталый. Он вошел, перекрестился, губы его беззвучно произнесли какую-то фразу. В гробу, покрытом цветами, лежало тело Григория Тимофеевича, одетое в черный костюм, и мертвое его лицо смотрело, казалось, в то небо, куда поднимается орел, уносящий Ганимеда.

— Из каких мест покойный? — спросил священник.

Володя ответил — такого-то уезда, Орловской губернии.

— Сосед, значит, — сказал батюшка. — Я сам оттуда же, и тридцати верст не будет. Вот беда, не знал я, что земляка хоронить придется. А как звали?

— Григорий.

Священник молчал некоторое время. Видно было, что эта подробность — то, что покойный был из тех же мест, что и он, — произвела на него особенное впечатление. Мне показалось, что он, может быть, подумал — вот и до наших очередь дошла. Потом священник вздохнул, снова перекрестился и сказал:

— Будь бы другие времена, я бы по нем настоящую панихиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриловый, одному мне трудно, так что тут дай Бог хоть короткую панихиду совершить. Может быть, кто-нибудь из вас все-таки поможет, подтянет? Поддержит меня?

Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было такое, каким я себе никогда не мог бы его представить — трагическое и торжественное.

— Служите, батюшка, как в монастыре, — сказал он, — а мы вас поддержим, не собьемся.

Он обернулся к своим товарищам, поднял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом, — священник посмотрел на него с удивлением, — и началась панихида.

Нигде и никогда, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли слушать пение. Хриловатому и печальному голосу священника отвечал хор, которым управлял Володя.

«Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо все мятется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе цари и нищие».

И затем опять это беспощадное напоминание:

«Таков живот наш есть: цвет и дым и роса утренняя воистину: придите ибо узрим на гробех ясно, где доброты телесная; где юность; где суть очеса и зрак плотский; вся увядоша яко трава, вся потребишася».

Когда я закрывал глаза, мне начинало казаться, что поет чей-то один могучий голос, то понижающийся, то повышающийся, и его звуковое движение заполняет все пространство вокруг меня. Мой взгляд упал на гроб, и в эту минуту хор пел:

«Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижу во гробе лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту — безобразну, бесславну, не имеющую вида».

Никогда панихида не казалась мне такой потрясающей, как в этот сумрачный зимний день в Париже. Никогда я не чувствовал с такой судорожной силой, что ни в чем, быть может, человеческий гений не достигал такого страшного совершенства, как в этом сочетании раскаленных и торжественных слов с тем движением звуков, в котором они возникали. Никогда до этого я не понимал с такой пронзительной безнадежностью неудержимое приближение смерти ко всем, кого я любил и знал и за кого возносилась та же молитва, которую пел хор:

«Со святыми упокой...»

И я думал, что в этот страшный час, который неумолимо придет и для меня, когда перестанет существовать все, ради

чего стоило — быть может — жить, никакие слова и никакие звуки, кроме тех, которые я слышал сейчас, не смогут выразить ту обреченность, вне которой нет ни понятия о том, что такое жизнь, ни представления о том, что такое смерть. И это было самое главное, а все остальное не имело значения.

«Все бо исчезаем, вси умрем, цари же и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и всё естество человеческое».

И над умершим будут звучать эти же раскаленные, как железо, слова.

Когда отпевание кончилось, я спросил Володю:

— Откуда это все у вас? Каким это чудом все вышло, как вы составили такой хор?

— Да просто так, — сказал он. — Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем — до последнего вздоха.

Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли, вынесли, поставили на катафалк и увезли на кладбище, за город. Потом наступили февральские сумерки, потом Париж погрузился в свою обычную для этого времени ледяную тьму, и эта ночь заволочла собой все, что только что происходило. И после того, как прошло некоторое время, мне начало казаться, что ничего этого вообще не было, что это было видение, кратковременное вторжение вечности в ту случайную историческую действительность, в которой мы жили, говоря чужие слова на чужом языке, не зная, куда мы идем, и забыв, откуда мы вышли.

Рис. П. Рыженко

Публикуется в сокращении

ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО



М. Нестеров
«На Руин. Душа народа»

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Молитва русской души

*«Вот русская речка, вот церковь. Все свое, родное, милое. Ах, как всегда я любил нашу убогую, бестолковую и великую страну Родину нашу!...»
Нестеров М.В.*

Русская живопись по общему признанию — первая в современном мире, а Васнецов и Нестеров — первые среди русских талантов. Оба они — восстановители православного, то есть византийско-русского, стиля живописи. Ими совершен поворот от итальянско-

немецкого искусства, чувственного и горделивого, к православному, одухотворенному и смиренному.

Это громадная заслуга перед искусством, перед православным христианством, перед Россией, перед человечеством, перед Богом; а Киево-Владимирский собор, как главную

сокровищницу их вдохновений, должно признать восьмым чудом в свете. Прибавим к сказанному, что наши живописцы не только восстановили, но и усовершенствовали византийско-русский стиль. Они несколько разнятся и друг от друга, и от прежних, тоже истинно православных иконописцев. Разумно, конечно, не только технику живописи, которая у последних была совершенно патриархальной, но и художественные идеи, вложенные нашими гениями в изображения Спасителя, Богоматери, Ангелов и святых.

Христос Спаситель у византийских художников — всеведущий и справедливый Судия, вззирающий на будущее сквозь мрак веков и в сердце грешных людей, обличая их лукавство. У древних русских живописцев Он — кроткий Утешитель скорбящих, а Богоматерь и святые — не только образцы целомудрия и носители восторженного вдохновения, как у византийцев (например, у гениального Мануила Панселина, афонца XIII века), но прежде всего умиленные сердцем и душой образцы глубокого смиренного мудрия и печали о мировом зле и о собственных согрешениях.

Васнецов и Нестеров разнятся между собой; первый, как богослов по образованию, является более отрешенным от наличной жизни, второй — более национальным, русским, даже деревенским созерцателем. Конечно, при всем том оба остаются чисто православными и национальными мастерами и совершенными в области научной техники. Восторженное вдохновение, духовность и чистота сердца — творчество Васнецова; тихая грусть, нежное умиление и преданность воле Божией — творчество Нестерова. Первый отрешает созерцателя своих картин от будничной жизни и увлекает к небу, второй — низводит небо на землю и раскрывает его влияние на жизнь народную, в частности — русскую. Васнецов берет идеи Иоанна Богослова и любит Апокалипсис; Нестеров воспринимает дух евангелиста Луки и постоянно воспроизводит идею притчи о блудном сыне, возвратившемся с раскаянием к своему милосердному отцу.

В 1917—1918 годах я беседовал с обоими. Тогда Васнецов читал в частном собрании четырехсот человек, членов Всероссийского Церковного Собора, полтора часа лекцию «О превосходстве византийско-русской живописи над западноевропейской», в частности — итальянской. Аудитория пришла в восторг от лекции и поручила мне приветствовать великого мастера; я говорил, что если и погибнет Россия, то не погибнет русский гений и не пропадут картины Васнецова до Второго Пришествия, если не в подлинниках, то в копиях. Вид его картин сре-

ди нашей современной Вальпургиевой ночи является тихим светом и настойчивым призывом к покаянию и просвещению духовному, как в известном стихотворении А. Толстого о мелодии, сияющей вразумить своего глубоко падшего композитора:

И в туманной дали рисовались
Берега позабытой Отчизны,
Неземные слова раздавались
И манили назад с укоризной.

Убеждение Васнецова о задачах церковной живописи сводится к тому, чтобы искусство, сохраняя современную технику, возвратилось всецело к заветам XVII века, когда русская народная жизнь достигла своего высшего расцвета, до которого нам пришлось и еще придется с усилием подниматься в области иконописания.

Его последняя грандиозная картина — «Страшный Суд», где с гениальным подъемом изображена Пресвятая Богородица, предстоящая Вечному Судии, как Ходатаица за людей.

Нестеров — чисто русский, с самым скромным мнением о себе, философ и художник. В захолустной, родной ему Уфе я всматривался в его иконы, которые сияли, как светлая радуга, в скромной церкви учительской школы села Благовещенского, в двадцати пяти верстах от города. В последнее время он пришел к убеждению, что он не призванный иконописец, ибо на этой специальности художник должен не столько творить, сколько вспоминать и переносить на полотно опыты и переживания не свое, а общецерковное. Его более притягивает та область религиозного искусства, где он может творить и воспроизводить преимущественно новые переживания людей, конечно, в области религиозной. Его картина

«Святая Русь» облетела в копиях и гравюрах весь мир. Другая, «На пути ко Христу», воспроизводит ту же идею, что и первая: стоит Христос Спаситель посреди русского пейзажа, а к нему идут, спотыкаясь и отклоняясь подчас от прямого пути, не только восторженные праведники, не только кающиеся, как на первой картине, но и колеблющиеся, и даже сошедший в сторону от спасительной тропинки Лев Толстой. Художнику более всего удаются типы русских благодных старцев-отшельников и смиренных богомолок,

примиренных с жизнью и со своими страданиями и лишениями. <...>

Велика слава этих гениев кисти, но современность наша при всех своих симпатиях к обоим еще не доросла до достойной их оценки. Эти два гения — дар неба погибающей Руси и всему цивилизованному миру.

Из книги «Молитва русской души»



фрагмент картины
М. Нестерова
«Святая Русь»



фрагмент картины
В. Васнецова
«Страшный суд»

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Валентин Зайцев

В Сан-Франциско ещё вчера,
а в Тобольске уже завтра

Продолжение. Начало № № 10-12, 2010 г., № 1-12, 2011 г., № 1-2, 2012 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Встречи в Поднебесной

9

— **У** нас находилась на излечении Людмила Дмитриевна Садковская. Она увлекалась спортом — скачками на лошадях. Однажды она скакала верхом на лошади по рейскорсу, лошадь чего-то испугалась, сбросила её, и она сильно ударилась головой о камень. Её без сознания привезли в наш госпиталь. Собрался консилиум. Признали положение безнадежным: едва ли доживёт до утра, — почти нет биения пульса, голова разбита, и мелкие кусочки костей черепа вошли в мозг — давят на него. При таком положении она непременно умрёт под скальпелем. Если бы даже её сердце позволило делать операцию, то при всем благополучном исходе она останется глухой, немой и слепой.

Её родная сестра, выслушав наше мнение, в отчаянии залилась слезами. Чтоб утешить её, мы посоветовали обратиться к владыке Иоанну. Она сразу же отправилась к нему и стала умолять его спасти сестру. Владыка согласился: пришёл в госпиталь, попросил всех выйти из палаты и молился около двух часов. Мы, в убеждении, что всё это бесполезно, разошлись по своим ординаторским и даже не поинтересовались, дал ли какой результат приход владыки. Так были мы уверены в безнадежном состоянии больной. Мы уже видели в ней труп.

Потом нам сообщили, что владыка вызвал главного врача и попросил освидетельствовать больную. Мы тоже ради любопытства присутствовали. И как же мы были буквально ошеломлены, когда услышали её пульс. Он бился как у нормального, совершенно здорового человека. Главный врач после некоторого колебания согласился немедленно начать операцию, но при условии, если при операции будет присутствовать владыка Иоанн.

Мы оперировали, он молился. Операция прошла благополучно. И опять нашему удивлению не было границ, когда после операции она пришла в себя и попросила пить. Она всё видела и слышала. (После операции Людмила Дмитриевна Садковская прожила ещё тридцать лет.) Подобных, совершенно необъяснимых случаев исцеления при участии владыки Иоанна я, как врач, знаю несколько. Большинство из них происходили при моей беспомощности, как врача, как хирурга. Пример тому, китайский мальчик, о котором вы рассказывали. Это ведь вы привозили меня к нему в трущобы? — обратился доктор к Анне Петровне.

— Ой, как стыдно-то!.. Я ведь вас не признала.

— Вам тогда не до моей физиономии было.

— Да, да, да... И всё-таки, всё-таки... Простите меня. Я и теперь не в себе. — Анна Петровна, вспомнив о китайском мальчике, вспомнила о девочке Соне, о Бариновых. Спросила, много ли выжило в Чапэи из разбирающих завалы. Доктор сказал:

— Насколько мне известно, мало. А из российских эмигрантов — единицы.

Тревога и боль за Бариновых вывела Анну Петровну из разговора. Ведь она рядом с ними разбирала завалы. Будь всё в порядке, да разве Меланья Гавриловна утерпела бы, чтоб не разыскать раненую подружку?! У Анны Петровны от предчувствия беды даже дыхание перехватило. Выждала минуту, чтоб не показать, что ей стало дурно, принялась настаивать на выписке. Доктор пообещал обсудить её просьбу с заведующим отделением долечивания, в котором она находилась.

Уже на следующее утро она освободилась от госпиталя и сразу же направилась к своим друзьям.

В комнатке, где проживали Бариновы, их встретили незнакомые люди — тоже из эмигрантов. Сообщили, что супругов Бариновых схоронили в братской могиле. Поинтересовалась про Соню. Новые жильцы комнаты Бариновых даже не слышали о её существовании. Анна Петровна обошла все клетушки дома. Никто ничего не смог сказать про девочку ясного. Некоторые видели её в день погребения родителей, а куда потом подевалась, не знали. Анна Петровна обошла соседние дома — девочка словно растворилась. И вдруг мысль: «А не поселилась ли она у своего друга Ябы?» Она тут же скорёхонько направилась в знакомые нам труппы.

В клетушке рикши — никого. Просидела в вонючем дворе весь день. Уже в сумерках явился Яба. Он сообщил ей, что тоже ищет Соню. Чуть ли не в каждый дом заходит. У кого только не спрашивал о ней: у лавочников, рикшей, богатых и бедных китайцев, прогуливающих по главным улицам, у садовников, жителей свалок, у бездомных мальчишек и девочек... Никто не видел русскую девочку.

Яба выглядел уставшим, измученным, а потому Анна Петровна не стала больше докучать ему.

— Как только что-либо прояснится, приди и скажи мне. Ты ведь знаешь, где я живу. Я тоже буду искать.

— Надо ещё в публичных домах поспрашивать, — уныло проговорил Яба. — Туда завлекают маленьких девочек. А Соне негде жить... Там много детей. Я пробовал разузнать, так меня даже побили маленько.

— Ладно, я попробую проникнуть в эти греховные заведения.

— Их много в Шанхае. Скрытых много. Только и вас, наверное, тоже не пустят. Туда пускают только мужчин и молодых девушек...

— И что же делать?

— Можете пройти... — он смутился, — ну... если скажите, что, ну... хотите продать свою дочь.

— Негодный мальчишка. Ты предлагаешь мне лгать, да и как лгать?! У меня нет дочери, у меня никого нет. Но всё равно у меня язык не повернётся сказать такое. Ведь даже мысли подобные... даже без намерения их выполнить, страшно греховны.

— Простите, Анна Петровна. Я не знал, как правильно сказать.

— Публичные дома оставь за мной, а сам продолжай искать в других местах. Если что-то узнаешь, сразу ко мне. Сам ничего не предпринимай. Договорились?

Когда они расстались, Анна Петровна по расспросам нашла ближайший публичный дом, но ничего выяснить в нём не смогла. Её даже провели по комнатам девушек. Сони среди них не было. Пошла искать другое заведение...

А между тем на город напознала ночь. Она была безлунная, и Шанхай окутывался в непроглядный мрак. В такую ночь даже китайцев охватывал ужас при мысли, что выйдя в город, они не найдут обратной дороги. И только случайно встретившийся с фонарём мог указать место, где находится заблудившийся. Случалось, что какой-нибудь неосторожный прохожий кружил до рассвета на одном месте. Такие кружения назывались в Поднебесной «бесовской проказой».

Анна Петровна неплохо знала Шанхай. Но так как она шла чуть ли не наощупь, то скоро потеряла всякую

ориентацию и поняла, что заблудилась. А как только поняла, сделалось так жутко, обуял такой страх, что ноги стали подкашиваться.

В этот год даже днём опасно было ходить по Шанхаю. Шла война с Японией, шла с переменными успехами, и японцы от того не становились благороднее. На улицах можно было видеть валявшиеся тела погибших от голода и холода или трупы убитых военных.

Думая обо всём этом, Анна Петровна пришла в ещё больший ужас, просто панический ужас. В критические минуты она была большой трусихой. Всё тело словно свела судорога. Она наткнулась на какие-то сараи, протиснулась между ними с намерением — переждать шанхайскую страшную ночь в этом тесном, затхлом укрытии. Одно было утешение: если будет сидеть тихо, её здесь никто не обнаружит.

Сидела, зажатая двумя дощатыми стенками, и думала: «А ведь владыка Иоанн в такие ночи постоянно ходит по городу к больным и находит как-то их дома. Идёт по улицам, на которых настоящую свободу и волю чувствуют только бандиты да отчаявшиеся от голода и холода люди, готовые на любой безрассудный поступок. Неужели владыка Иоанн не боится?.. Говорят, он так полюбил Господа, что ничто мирское его не тревожит, и не случается с ним ничего.

10

Сегодня в Китае Цинмун — праздник Поминовения предков. И хотя стоял апрель, яблони ещё не зацвели. Весна запаздывала. Отец Ябы весь день бегал со своей коляской — возил клиентов — одних на кладбища, других — с кладбищ. В День Поминовения он зарабатывал не только медяки, но и, бывало, юани. Однако в этот раз ему не везло. Чаще всего усаживались в его коляску японские солдаты. Причём, не спрашивая позволения. А об оплате и не заикайся. Мало того, требовали: «Скорей, скорей...» Они были завоеватели и смотрели на китайцев, как смотрели когда-то маньчжуры во время династии Цин. Рикша для них был что-то вроде лошади. Они считали, что имеют право — подгонять эту лошадь пинками в спину, крича при этом: «Хэ! Хэ!» Они не знали, как зовут рикшу. Понукание совпало с его именем. Хотя «хэ» — не такое уж плохое понукание.

От большой нагрузки в этот день Поминовения Хэ почувствовал в своей утробе неприятное жжение, к которому добавилось ощущение, будто внутри что-то рвалось. Он догадывался, что это результаты пинков гоминдаповцев, когда они вырывали у него ткань. После обеда стало трудно дышать. Теперь он походил на лошадь, которая ходит по кругу водочерпалки с завязанными глазами, чтоб не закружилась голова, и оттого ничего не видит и ни о чём не может думать. Больше всего он опасался упасть на мостовой и опозориться перед клиентом.

К вечеру всё чаще заплетались ноги, и всё чаще он получал пинки в спину: «Хэ! Хэ!» С утра у него было намерение — сбегать на кладбище жены одному. Но к вечеру непонятно отчего началось усливать желание — взять с собой на могилу и сына. Поплёлся с коляской к православному храму в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Это был самый величественный православ-

ный храм в Шанхае. Он долго стоял недостроенным, будто дожидался возведения на шанхайскую кафедру епископа Иоанна. При нём храм словно сам начал расти и украшаться, а вскоре в нём пошли и Божественные службы. Этот храм полюбился многим шанхайцам, но только не рикше Хэ.

После того как Хэ узнал, что его любимый сынок принял христианство, и увидел, как Яба потихоньку отходит от китайских традиций и уже не ждёт его, сидя целыми днями у окна, а бежит к своей подружке — не китаянке, а к русской, почувствовал, что его дорогой сынок меньше стал любить его. От всего этого у Хэ родилась острая неприязнь к чужой вере и к тем китайцам, кто её поддерживает — к двухволосатым.

Раньше, бывало, встретив русского монаха, Хэ старался проявить к нему почтительность, называл учителем. Теперь же его поведение сильно изменилось. Он твёрдо решил, если и будет оказывать уважение к иностранным священникам, то лишь только как к клиентам. На новый великолепный храм он, пробегая мимо с коляской, старался не смотреть. Но теперь, в ожидании сына, разглядывал его со вниманием, стараясь понять, чем же привлѣк дорогого сыночка этот храм. Может, не так уж и плохо сделал сын. Но чем дальше смотрел, тем большие сомнения охватывали душу. Какой же это храм? Нисколько не походит он ни на буддийскую, ни на даосскую обитель, а постройки, что рядом с ним, совсем не согласуются с окрестными зданиями.

Хэ казалось, что в самом храме и в строениях, окружающих его, скрыта какая-то заморская тайна, и там затаились разные диковинные штуки: заморские ружья, а может, и пушки. Много уж бед претерпели китайцы от иностранных захватчиков — японцев, англичан, французов. Но если те брали в плен живые тела, то эти — живые души. Про души Хэ понимал не умом, а сердцем, и с недоумением глядел теперь на людской поток, движущийся к храму. Китайцев среди идущих — чуть ли не половина. Многие были хорошо знакомы ему. Некоторые — вполне приличные люди. Ему даже нравились. Они нанимали его подвезти, не торгуясь. Других недолюбливал.

Он, разглядывая людей и боясь проглядеть Ябу, задавал себе вопрос: «Почему эти — вполне порядочные китайцы тоже верят в заморского Бога?» Вопрос этот был для

него неразрешим. И другое непонятное явление: «Отчего заморская церковь принимает под своим кровом вон тех непутѣвых?» Хэ недоумевал. Но больше всего его удивляло, что среди верующих в заморского Бога много маньчжуров — этих недавних властителей Поднебесной? Они всегда непреклонно соблюдали свои традиции. К примеру, требовали, чтоб китайские мужчины носили косы. У них и бог свой, и до падения династии Цин о других богах и слышать не хотели.

Правда, какая вера у маньчжуров, Хэ не очень ясно понимал, и что она собой представляет. Многие китайцы поклоняются Будде и Конфуцию. Другие верят в даосизм. Хэ считал, что этого вполне достаточно. К чему нужна какая-то заморская религия. Так он старательно пытался во всё это вникнуть, ничего не понимая, что упустил из виду сына Ябу.

Но он сам заметил отца, в стороне стоявшего, и подошёл.

— Пап, Соня не проходила в храм? Не видел?

— А, сынок... Вроде не проходила. Сейчас, пока светло, мы пойдём с тобой к твоей мамке на могилку. Ведь сегодня день Поминования усопших. Не забыл?

— Я, пап, весь день искал Соню. И опять не нашёл. Но ты не думай, пап, я обязательно найду.

— Ты вот ищешь её повсюду, а она, может, преспокойненько где-нибудь поживает и о тебе не думает.

— Не поживает преспокойненько. Иначе бы давно уж пришла к нам. Я её знаю. — Думая о Соне, Яба даже забыл, что отец раньше не хотел брать его — христианина на кладбище. — Подожди, я сбегая в храм.

Яба вернулся скоро и сообщил, что в храме её опять нет. А потом:

— Пап, смотри! Вон владыка! Сам владыка идёт с посохом.

Из двери трёхэтажного дома, стоящего рядом с храмом, вышел монах с молодым послушником, и оба направились к храму. В тот день, когда владыка исцелил сына, Хэ от волнения не рассматривал его. Теперь же разглядывал жадно.

Спаситель сына шёл хотя и согбенно, но величественно. И казалось, что не он опирается на высокий посох, а посох ведёт его. Сердце Хэ захолонуло и наполнилось невыразимой благодарностью к этому человеку, вырвавшему дорогого сыночка из рук смерти. За это Хэ готов был возить его на своей коляске хоть каждый день до самой своей



смерти и, конечно же, бесплатно. Да только вот рикша хорошо запомнил его обидные слова: «Я никогда не езжу на рикше». И эти слова, казалось, до недосягаемости отделили Хэ от владыки Иоанна, но не убавили возникшую любовь к нему. Неизъяснимая благодарность к владыке никак не увязывалась у Хэ с Православной Церковью. Он считал: владыка — одно, а заморская церковь — совсем другое, чужеродное.

Хэ усадил мальчика в коляску и повёз. Ноги его заплетались. Остановился.

— Сынок, однако я запалился.

От такого слова Ябу объял ужас. Он боялся этого слова больше всего на свете. Знал, что запалившихся лошадей выбраковывают. Тоже происходит и с рикшами. Пересиливая страх, он начал уверять:

— Нет-нет! Ты не запалился. Тебя пинали, ты не выздоровел ещё. Выздоровеешь и опять будешь рысистым конём.

Но на этот раз отец не поддержал его успокаивающее старание:

— Если что со мной случится, береги коляску, — сказал

он. — Она тебя всегда накормит... А может, и верно, выздоровлю.

— Выздоровеешь, выздоровеешь!

— Я тебе верю. Да не слезай, тебе говорят, а то японский солдат попадётся, придётся его везти.

И отец напрягаясь и дрожа всем телом, повёз своего сыночка дальше — к дорогой для Ябы и его отца могилке. И чем дальше он вёз, тем больше мальчику хотелось плакать, но слёзы не выступали на глаза, они были где-то внутри. Ему было жалко себя, что везёт его отец к той, которой нет и уже никогда не будет. Детское сердечко разрывалось от жалости и к отцу, который после смерти жены совсем ушёл в себя, и Яба видел — живёт он только ради него, сыночка своего.

Оставшись в этой жизни вдвоём, они друг без друга не могли и дня прожить. «Папа, дорогой мой папа, а может, не надо на могилку?» — это он произнёс мысленно, а потому отец продолжал тащить коляску. Ноги его поминутно подкашивались.

Рисунок автора

Продолжение следует



Марина Алёшина
*Маленький
домик
для совести*



Тане что-то не спалось. Потолок разглядывать надоело. Одеядло сползало, как будто назло. И даже любимая подушка кололась.

Таня повернулась на правый бок, потом — на левый. «Все бока отлежала» — подумала она. И вспомнилась ей та самая жирная двойка, которая красовалась в дневнике, прямо под пятёркой по литературе.

«Я не врал маме, — рассуждала она в который раз, — я просто сказала о пятёрке, а о двойке не сказала... Вот если бы мама спросила меня, не получила ли я двойку, и я сказала бы «нет», то это было бы враньё». Тут подушка впилась ей в щеку, и Таня ударила её кулаком:

— Вот тебе!

Но в конце концов ей стало так плохо, что она спустила ноги, пошлёпала босиком в комнату родителей и легонько толкнула спящую маму в плечо:

— Мама!

— Что ты не спишь, Танюша? — мама совсем не сердилась.

— Мне плохо вот здесь! — и

Таня показал в самую середину груди.

Мама внимательно посмотрела на дочь и спросила:

— Почему же тебе плохо?

— Я не сказала тебе про двойку, которая под пятёркой.

— Ну, вот теперь и сказала, иди спать.

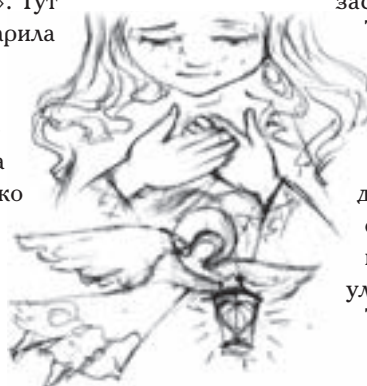
— А что у меня болело вот здесь? — спросила Танюшка, прижимая кулачок к груди.

— Там живёт совесть, — ответила мама, — в маленьком домике, который называется сердцем, — она-то и не давала тебе уснуть. А теперь ты сразу заснёшь, вот увидишь, — и она потрепала Таню по щеке и поцеловала.

Танюшка пропрыгала полкоридора на левой ноге, полкоридора — на правой, плюхнулась в мягкую кровать, обняла свою любимую подушку и прижалась к ней щекой. Потом от радости поджала колени к животу и улыбнулась самой радостной в мире улыбкой — от уха до уха.

Так, улыбаясь, она и заснула.

Мгарский колокол №106, 2011 г.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСТА

Крестопоклонная неделя (18/5 марта)

Воскресенье третьей недели Великого поста в Православной Церкви носит название Крестопоклонной недели.



В субботу вечером на всенощном бдении в центре храма торжественно выносятся Животворящий Крест Господень — напоминание о приближающейся Страстной Седмиде и Пасхе Христовой. После этого священники и прихожане храма совершают перед крестом три поклона.

При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Св. Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, когда он перед Литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными». Начало традиции поклонения Кресту Господню было положено во времена первых христиан.

40 Севастийских мучеников (22/9 марта)



Преподобного Иоанна Лествичника (25/12 марта)

В четвертое воскресенье вспоминается Св. Иоанн Лествичник, написавший сочинение, в котором показал лестницу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию.

Стояние Марии Египетской (28/15 марта)



В четверг (на Утрени) на пятой неделе совершается так называемое «стояние Св. Марии Египетской». Жизнь Св. Марии Египетской, великой грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божьем. На утрени в этот день читается житие Св. Марии

Египетской и канон Св. Андрея Критского, тот самый, который читается в первые четыре дня Великого поста.

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) (31/18 марта)

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благо-

дарственной похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов.

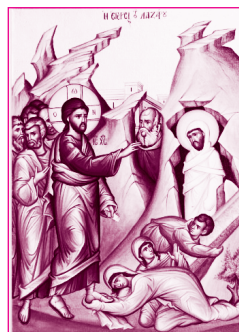
Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери, написанная святым евангелистом Лукой, и священные предметы земной Ее жизни — риза и пояс Ее; но позднее праздник сделался общим для всей Восточной Церкви.



Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля/25 марта)

Лазарева суббота (7 апреля/25 марта)

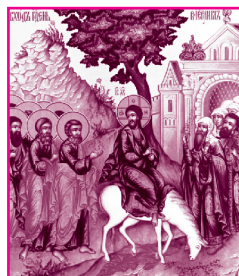
В субботу на 6-ой неделе на Утрени и Литургии вспоминается воскрешение Иисусом Христом Лазаря. На утрени в этот день поются воскресные «тропари по Непорочных»: «Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим», а на Литургии вместо «Святый Боже» поется «Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь. Аллилуйя».



Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) (8 апреля/25 марта)

В шестое воскресенье Великого Поста празднуется вход Господень в Иерусалим на вольные страдания. Этот иначе называется Вербным воскресением. Неделю Вайи и Цветоносную. На Всенощной освящаются молитвой и окроплением святой воды, распускающиеся ветви вербы (вайя) или других растений. Освященные ветви раздаются молящимся, с которыми, при зажженных свечах верующие стоят до конца службы, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).

С вечерни в Вербное воскресенье отпущение начинается словами: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос истинный Бог наш...»



Страстная седмица (9 апреля/27 марта - 14/1 апреля)

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (15/2 АПРЕЛЯ)